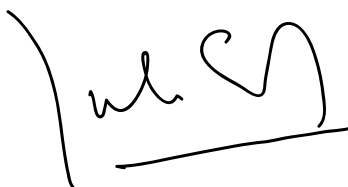


Хулио Кортасар



Игра  
В КЛАССИКИ



Издательство АСТ  
Москва

УДК 821.134.2-31(82)  
ББК 84(7Арг)-44  
К69

Серия «Библиотека классики»

Julio Cortázar  
RAYUELA

Перевод с испанского *Л. Синянской*

Компьютерный дизайн *В. Воронина*

Печатается с разрешения наследников автора  
и литературного агентства Agencia Literaria Carmen Balcells, S.A.

**Кортасар, Хулио.**

К69 Игра в классики : [роман] / Хулио Кортасар ; [перевод с испанского Л. Синянской]. — Москва : Издательство АСТ, 2020. — 480 с. — (Библиотека классики).

ISBN 978-5-17-112699-5

Хулио Кортасар. Первый из «золотой троицы» латиноамериканской прозы середины XX века Кортасар — Борхес — Маркес. Писатель, балансирующий на грани реальности и фантастики, магического реализма и сюрреализма, непревзойденный мастер испаноязычной литературы, не вписывающийся в узкие рамки определений и жанров.

«Игра в классики». Книга, которую литературные критики традиционно сравнивают с «Игрой в бисер» Германа Гессе и с «Улиссом» Джеймса Джойса.

Книга, считающаяся своеобразным эталоном магического реализма.

«Игра в классики». Текст в тексте. Роман, в котором мистические откровения подлежат жесткой классификации, а обычные события обретают глубинный, многоуровневый смысл.

Книга, без которой не было бы не только Фаулза и Коэльо, но даже и «позднего» Маркеса!

УДК 821.134.2-31(82)  
ББК 84(7Арг)-44

ISBN 978-5-17-112699-5

© Heirs of Julio Cortázar, 1963  
© Перевод. Л. Синянская, наследники, 2020  
© Издание на русском языке AST Publishers, 2020

## Таблица для руководства

Эта книга в некотором роде — много книг, но прежде всего это две книги. Читателю предоставляется право выбирать одну из двух возможностей:

Первая книга читается обычным образом и заканчивается 56-й главой, под последней строкою которой — три звездочки, равнозначные слову *Конец*. А посему читатель безо всяких угрызений совести может оставить без внимания все, что следует дальше.

Вторую книгу нужно читать начиная с 73-й главы в особом порядке: в конце каждой главы в скобках указан номер следующей. Если же случится забыть или перепутать порядок, достаточно справиться по приведенной таблице:

73 — 1 — 2 — 116 — 3 — 84 — 4 — 71 — 5 — 81 — 74 — 6 — 7 — 8 —  
93 — 68 — 9 — 104 — 10 — 65 — 11 — 136 — 12 — 106 — 13 — 115 — 14 —  
114 — 117 — 15 — 120 — 16 — 137 — 17 — 97 — 18 — 153 — 19 — 90 —  
20 — 126 — 21 — 79 — 22 — 62 — 23 — 124 — 128 — 24 — 134 — 25 —  
141 — 60 — 26 — 109 — 27 — 28 — 130 — 151 — 152 — 143 — 100 — 76 —  
101 — 144 — 92 — 103 — 108 — 64 — 155 — 123 — 145 — 122 — 112 —  
154 — 85 — 150 — 95 — 146 — 29 — 107 — 113 — 30 — 57 — 70 — 147 —  
31 — 32 — 132 — 61 — 33 — 67 — 83 — 142 — 34 — 87 — 105 — 96 — 94 —  
91 — 82 — 99 — 35 — 121 — 36 — 37 — 98 — 38 — 39 — 86 — 78 — 40 —  
59 — 41 — 148 — 42 — 75 — 43 — 125 — 44 — 102 — 45 — 80 — 46 — 47 —  
110 — 48 — 111 — 49 — 118 — 50 — 119 — 51 — 69 — 52 — 89 — 53 —  
66 — 149 — 54 — 129 — 139 — 133 — 140 — 138 — 127 — 56 — 135 — 63 —  
88 — 72 — 77 — 131 — 58 — 131

Для того чтобы легче было найти главы, нумерация глав дается на каждой странице, сверху.

*И, воодушевленный надеждой быть полезным, в особенности молодежи, а также способствовать преобразованию нравов в целом, я составил это собрание максим, советов и наставлений, кои являются основой той вселенской морали, что столь способствует духовному и мирскому счастью всех людей, каковыми бы ни были их возраст, положение и состояние, равно как процветанию и доброму порядку не только гражданской и христианской республики, где мы живем, но и благу любой другой республики или правительства, каковых самые глубокоумные философы света пожелали бы измыслить.*

Дух Библии и Вселенской Морали, извлеченный из Ветхого и Нового завета. Писано на тосканском аббатом Мартини с приведением цитат. На кастильский переведено ученым клериком Конгрегации святого Кайетано. С разрешения. Мадрид: Напечатано Аснаром, 1797.



*Всегда, чуть похолодает, точнее, в середине осени, меня берет дикое желание думать о чем-нибудь Икс-центрическом и Икс-зотическом, вроде, к примеру, хотелось бы мне стать ласточкой, чтоб сорваться да и махнуть в жаркие страны, или скукожиться муравьишкой да забиться в норку и сидеть себе там, грызть пищу, запасенную с лета, а то извернуться змеей наподобие тех, что держат в зоопарке в стеклянных клетках, чтоб не окаменели от холода, как бывает-случается с людишками, которые не могут купить себе одежды, больно дорого, и согреться не могут, потому как керосина нет, или угля, или дров, или бензина всякого, да и денег нету, ведь ежели в карманах у тебя позвякивает, ты можешь войти в любой подвальчик и попросить себе грапты, а она ой как согревает, только нельзя Зло-употреблять, потому как Зло-употребил — и сразу во Зло и в порок войдешь, а уж от порока до падения телесного и морального один шаг, и коли покатылся по роковой наклонной плоскости к дурному поведению во всех смыслах, так уж никто на белом свете не спасет тебя от помойки людской и никто тебе руки не протянет, чтобы вытащить из вонючего болота, в котором барахтаешься, это почитай как с кондором: пока молод, парит-летает по горным вершинам, а как состарится, падает камнем вниз, чисто бомбардировщик пикирующий, у которого моральный мотор отказал. Хорошо бы то, что пишу, сослужило кому службу, чтоб посмотрел он на свое поведение, а не каялся бы, когда поздно уже и все к чертовой бабушке покатылось по его же собственной вине!*

Сесар Бруто. Кем бы мне хотелось быть, если бы я не был тем, кто я есть.  
*Глава «Пес Святого Берналдо».*

## ПО ТУ СТОРОНУ

Rien ne vous tue un homme  
d'être obligé de représenter un pays<sup>1</sup>.

*Жак Ваше, письмо к Андре Бретону*

### 1

**В**стречу ли я Магу? Сколько раз, стоило выйти из дому и по улице Сен добраться до арки, выходящей на набережную Конт, как в плывущем над рекою пепельно-оливковым воздухе становились различимы контуры, и ее тоненькая фигурка обрисовывалась на мосту Дез-Ар; случалось, она ходила из конца в конец, а то застывала у железных перил, глядя на воду. И так естественно было выйти на улицу, подняться по ступеням моста, войти в его узкий, выгнутый над водою пролет и подойти к Маге, а она улыбнется, ничуть не удивясь, потому что, как и я, убеждена, что нечаянная встреча — самое чайнное в жизни и что заранее договариваются о встречах лишь те, кто может писать друг другу письма только на лिनотипной бумаге, а зубную пасту из тюбика выжимает аккуратно, с самого дна.

Но теперь ее на мосту наверняка нет. Ее тонкое лицо с прозрачной кожей, наверное, мелькает теперь в старых подъездах квартала Марэ, а может, она разговаривает с торговкой жареным картофелем или ест сосиски на Севастопольском бульваре. И все-таки я поднялся на мост, и Маги там не было. Теперь Мага не попадалась мне на пути, и хотя мы знали, кто из нас где живет, и знали каждый закоулок в наших типичных парижских псевдостуденческих комнатушках, знали все до одной почтовые открытки, эти оконца в мир Брака, Гирландайо, Макса Эрнста, пришпиленные на аляповатых карнизах или крикливых обоях, тем не менее мы не пошли бы друг

---

<sup>1</sup> Ничто так не убивает в нас человека, как необходимость представлять какую-нибудь страну (*фр.*).

к другу домой. Мы предпочли встречаться на мосту, на террасе кафе или в каком-нибудь облюбованном кошками дворике Латинского квартала. Мы бродили по улицам и не искали друг друга, твердо зная: мы бродим, чтобы встретиться. О Мага, в каждой женщине, похожей на тебя, копится, точно оглушительная тишина, острое стеклянное молчание, которое в конце концов печально рушится, как захлопнутый мокрый зонтик. Как зонтик, Мага, наверное, ты помнишь тот старый зонтик, который мы принесли в жертву оврагу в парке Монсури промозглым мартовским вечером. Мы зашвырнули его; ты нашла этот зонтик на площади Согласия, он уже был порван, но ты им пользовалась всю, особенно продираясь сквозь толпу в метро или автобусе, всегда неловкая, рассеянная, занятая мыслями о пестром костюмчике или причудливых узорах, которые начертили две мухи на потолке, а в тот вечер вдруг хлынул ливень, едва мы вошли в парк, и ты уже собиралась гордо раскрыть свой зонтик, как вдруг в руках у тебя разразилась катастрофа, и нам на головы обрушились холодные молнии, черные тучи, рваные лоскутья и сверкающие, вылетевшие из гнезд спицы; мы смеялись как сумасшедшие под проливным дождем, а потом решили, что зонтик, найденный на площади, должен умереть достойным образом в парке и не может быть неблагородно выброшен на помойку или попросту за ограду; и тогда я сложил его, насколько это было возможно, мы поднялись на самое высокое место в парке, туда, где перекинут мост над железной дорогой, и с высоты я что было сил швырнул зонт на дно заросшего мокрой травой оврага, под твой, Мага, крик, напомнивший мне проклятия валькирии. Он пошел на дно оврага, словно корабль, над которым сомкнулись зеленые воды, зеленые бурные воды, *à la mer que est plus félonesse en été qu'en hiver*<sup>1</sup>, коварные волны, Мага, — мы еще долго перечисляли все названия его последнего пристанища, влюбленные в Жуэнвиля и в парк, и держа друг друга в объятиях, были похожи на мокрые деревья или на актеров какого-нибудь смешного венгерского фильма. И он остался там, в траве, крошечный и черный, точно раздавленный жучок. Не шелохнулся, и ни одна из его пружин не распрямилась, как бывало. Все. С ним — кончено. А нам, Мага, все было нипочем. Зачем я пришел на мост Дез-Ар? Кажется, в этот декабрьский четверг я собирался отправиться на правый берег и выпить вина в маленьком кафе на улице Ломбар, где мадам Леони, разглядывая

<sup>1</sup> Море, которое летом коварнее, чем зимой (*фр.*).

мою ладонь, обещает мне дальнюю дорогу и неожиданные радости. Я никогда не водил тебя к мадам Леони показать твою ладонь, может, боялся, как бы она не разгадала по ней правду обо мне, потому что твои глаза, в которые я смотрелся, всегда были ужасным зеркалом, а сама ты, как машина, только и умела повторять, и то, что мы называли любить друг друга, для меня было стоять перед тобою, Мага, с желтым цветком в руке, а ты держала две зеленые свечи, и ветер сек наши лица медленным дождем отречений и разлук и засыпал шквалом использованных билетиков на метро. И так, я никогда не водил тебя к мадам Леони, Мага; и я знаю, ты сама сказала мне: тебе не хочется, чтобы я видел, как тыходишь в маленькую книжную лавчонку на улице Верней, где скрюченный старик заполняет тысячи каталожных карточек и знает все, что только можно знать по историографии. Ты приходила туда поиграть с котенком, старик впускал тебя и ни о чем не спрашивал, довольный и тем, что иногда ты доставала ему книгу с самой верхней полки. И ты отогревалась у печки с большой черной трубой и не хотела, чтобы я знал о том, что ты грелась у того огня. Все это следовало сказать в свое время, но вот беда: момент для этого выбрать было трудно, и даже теперь, облокотившись на перила моста и глядя на проплывающий внизу кораблик темно-вишнего цвета, аккуратненький, точно большая, сияющая чистотой ложка, где на корме женщина в белом фартучке развешивает на проволоке белье, глядя на его выкрашенные зеленой краской окошечки с занавесками в духе Гензеля и Гретель, даже теперь, Мага, я спрашиваю себя, имеет ли смысл это хождение вокруг да около, потому что на улице Ломбар мне удобнее было бы добраться через мост Сен-Мишель и мост О-Шанж. Окажись ты здесь сегодня, как случилось столько раз, я бы не сомневался, что это имеет смысл, но тебя нет, и, желая окончательно принизить собственное поражение, я называю это хождением вокруг да около. Теперь, подняв воротник куртки, придется идти по набережной мимо больших магазинов до Шатле, пройти в фиолетовой тени башни Сен-Жак и подняться вверх по моей улице, думая о том, что я тебя не встретил, и еще — о мадам Леони.

Да, в один прекрасный день я приехал в Париж и некоторое время жил в долг, поступая так, как поступают другие, и смотря на все теми глазами, какими смотрят все остальные. И однажды ты вышла из кафе на улице Шерш-Миди, и мы заговорили. В тот вечер все было неладно, потому что мое аргентинское воспитание мешало мне без конца переходить с одной стороны улицы на дру-

гую ради того, чтобы посмотреть на какую-то чепуху, выставленную в плохо освещенных витринах на улицах, названий которых я уже не помню. Я нехотя плелся за тобой, и ты показалась мне тогда слишком бойкой и невоспитанной, плелся, пока ты не устала оттого, что никак не могла устать; мы забрались в кафе на Буль-Миш, и ты залпом, между двумя сдобными булочками, рассказала мне целый кусок своей жизни.

Мог ли я заподозрить тогда, что все это, казавшееся выдумкой, окажется сущей правдой: ночной бар, сцена из Фигари, корзина с фиалками, мертвенно-бледные лица, голод и побои в углу. Потому что я поверил: были на то причины и была мадам Леони, которая, разглядывая мою ладонь, уже познавшую жар твоей груди, повторила все это почти твоими словами. «Где-то она сейчас страдает. Она всегда страдала. Она очень веселая, обожает желтый цвет, ее птица — дрозд, любимое время — ночь, любимый мост — Дез-Ар». (Кораблик темно-винового цвета, Мага, почему мы не уплыли на нем, когда было еще не поздно?)

И, смотри-ка, не успели мы познакомиться, как жизнь принялась старательно строить козни, чтобы развести нас. Ты не умела притворяться, и я очень скоро понял: чтобы видеть тебя такой, какой мне хочется, необходимо сначала закрыть глаза, и тогда сперва что-то вроде желтых звездочек как бы проскакивало в бархатном желе, затем — красные всплески веселья на целые часы, и я постепенно входил в мир Маги, который был с начала до конца неуклюжим и путаным, но в нем были папоротники, пауки Клее, и цирк Миро, и припорошенные пеплом зеркала Виейра да Силвы, мир, в котором ты двигалась точно шахматный конь, который бы вздумал ходить как ладья, пошедшая вдруг слоном. Тогда-то мы и зачастили в кино клуб на немые фильмы, потому что я — человек образованный, не так ли, но ты, бедняжка, ровным счетом ничего не понимала в этих пожелтевших судорожных страстях, приключившихся еще до твоего рождения, в этих дряхлых пленках, на которых мечутся мертвецы; но вдруг среди них проскальзывал Гарольд Ллойд, и ты разом стряхивала дремоту и под конец была твердо убеждена, что все замечательно и что, конечно, Пабст и Фриц Ланг в большом порядке. Меня немного раздражало твоё пристрастие к совершенству, твои рваные туфли и вечное нежелание принимать то, что принять можно. Мы ели рубленные бифштексы на углу около Одеона, а потом на велосипеде мчались на Монпарнас в первую попавшуюся гостиницу, лишь бы добраться до постели.



Но бывало, что мы доезжали до Порт-д-Орлеан и подробно знакомились с пустырями, лежавшими за бульваром Журдан, где иногда в полночь собирались члены Клуба Змеи поговорить со слепым ясновидцем, вот ведь какой возбуждающий парадокс! Мы оставляли велосипеды на улице и брели по пустырю, то и дело останавливаясь поглядеть на небо, потому что это одно из немногих мест в Париже, где небо куда ценнее земли. Усевшись на кучу мусора, мы курили, и Мага ласково перебирала мои волосы или мурлыкала песенку, вовсе не придуманную, дурацкую песенку, прерывавшуюся вздохами или воспоминаниями. А я тем временем думал о вещах незначительных, этим методом я начал пользоваться много лет назад, лежа в больнице, и чем дальше, тем более плодотворным и необходимым он мне казался. С большим трудом, соединяя второстепенные образы, стараясь вспомнить запахи и лица, я в конце концов все-таки извлекал из ничто коричневые ботинки, которые я носил в Олаваррии в 1940 году. У них были резиновые каблуки, а подошва такая тонкая, что в дождь вода хлюпала даже в душе. Стоило зажать в кулаке воспоминаний эти ботинки, как остальное приходило само: лицо доньи Мануэлы, например, или поэт Эрнесто Моррони. Но этих я тут же отбрасывал, потому что по условиям игры вынимать из прошлого следовало только незначительное, только ничтожное, сгинувшее. Меня трясло от мысли, что ничего больше не удастся вспомнить, подыедало желание плюнуть и не мучиться, отказаться от дурацкой попытки поцеловать время, и все-таки кончалось тем, что рядом с этими ботинками я видел консервную банку с «Солнечным чаем», которым мать поила меня в Буэнос-Айресе. И ложечку для чая, ложечку-мышеловку, в которой черненькие мышки-чайники сгорали заживо в чашке кипятка, выпуская шипящие пузырьки. Убежденный в том, что память хранит все, а не одних только Альбертин или великие годовщины сердца и почек, я изо всех сил старался припомнить, что было на моем рабочем столе во Флоресте, какое лицо у незапоминающейся девушки по имени Хекрептен и сколько ручек лежало в пенале у меня, пятиклассника, и под конец меня было как в лихорадке (потому что, сколько было ручек, вспомнить не удавалось, я знаю, что они были в пенале, в специальном отделении, но сколько их было и когда их должно было быть две, а когда — шесть, никак не вспоминалось), и тогда Мага, целуя и дыша в лицо сигаретным дымом и жаром, приводила меня в себя, и мы смеялись, поднимались на ноги и снова брели между мусорных куч,

отыскивая наших соклубников. Уже тогда я понял: искать — написано мне на звездах, искать — эмблема тех, кто по ночам без цели выходит из дому, и оправдание для всех истребителей компасов. До одурения мы говорили с Магой о патафизике, потому что с ней приключались (и такой была наша встреча, как и тысячи других вещей, столь же темных, как фосфор), — с ней без конца приключались вещи из ряда вон и ни в какие рамки не укладывающиеся, и вовсе не потому, что мы презирали других и считали себя вышедшими из употребления Мальдорорами или какими-нибудь исключительными Мельмотами-Скитальцами. Я не думаю, чтобы светляк испытывал чувство глубокого удовлетворения на том неоспоримом основании, что он — одно из самых потрясающих чудес в спектакле природы, но представим, что он обладает сознанием, и станет ясно, что всякий раз, едва его брюшко начинает светиться, насекомого должно приятно щекотать чувство собственной исключительности. Вот и Мага приходила в восторг от тех невероятных переделок, в которые она то и дело попадала из-за того, что в ее жизни все законы постоянно терпели крах. Она принадлежала к тем, кому достаточно ступить на мост, чтобы он тотчас же под ней провалился, к тем, кто с плачем и криком вспоминает, как своими глазами видел, но не купил лотерейного билета, на который пять минут назад выпал выигрыш в пять миллионов. Я же привык к тому, что со мной случались вещи умеренно необычные, и не видел ничего ужасного в том, что, войдя в темную комнату за альбомом с пластинками, вдруг сжимал в ладони живую и верткую гигантскую сороконожку, облюбовавшую для сна корешок именно этого альбома. Или, к примеру, открыв пачку сигарет, обнаруживал в ней серо-зеленую труху, или слышал паровозный свисток в тот самый момент и в точности такого тона, чтобы тотчас же переключиться на пассаж из симфонии Людвиг вана, а то, забежав в писсуар на улице Медичи, сталкивался с мужчиной, который, в этот момент выходя из кабины, поворачивался ко мне, сжимая в кулаке, словно драгоценный предмет церковной утвари, невыразимую часть тела диковинного размера и цвета, и я понимал, что мужчина этот как две капли воды похож на другого (а может, то был не другой, а этот самый), который двадцать четыре часа назад в Географическом собрании делал доклад на тему о тотемах и табу и точно так же, сжимая в кулаке, показывал публике палочки из мрамора, перья из хвоста птицы-лиры, ритуальные монеты, ископаемые остатки животных, которых наделяли магическими свойства-

ми, морских звезд, засушенных рыб, фотографии королевских наложниц, пожертвования охотников, огромных забальзамированных жуков-скарабеев, приводивших в блаженный трепет дам, каковых на такого рода действиях всегда хватало.

Одним словом, не так-то легко рассказать о Маре, которая сейчас наверняка бредет по Бельвиллю или Пантэну и, старательно глядя под ноги, выискивает красный лоскуток. А если не найдет, то будет ходить всю ночь и с остекленевшим взглядом рыться в помойках, потому что убеждена: случится нечто ужасное, если она не найдет красной тряпицы, этого знака искупления, прощения или отсрочки. Я ее хорошо понимаю, потому что и сам повинуюсь знакам, потому что иногда мне и самому позарез бывает нужно найти красную тряпицу. С детских лет у меня потребность: если что-нибудь упало, я должен обязательно поднять, что бы ни упало, а если не подниму, то непременно случится беда, не обязательно со мной, но с кем-то, кого я люблю и чье имя начинается с той же буквы, что и название упавшего предмета. И хуже всего, что нет силы, способной удержать меня, если у меня что-то упало на пол, и бесполезно поднимать что-нибудь другое — не считается, несчастье случится. Сколько раз из-за этого меня принимали за сумасшедшего, да я и вправду становлюсь как сумасшедший, как ненормальный бросаюсь за выпавшей из рук бумажкой, или карандашом, или — как тогда — за куском сахара в ресторане на улице Скриба, в роскошном ресторане, битком набитом деловыми людьми, шлюхами в чернобурках и образцовыми супружескими парами. Мы были там с Рональдом и Этьеном, у меня из рук выскочил кусочек сахара и покатился под стол, довольно далеко от нас находившийся. Первым делом я обратил внимание на то, как он катился, потому что кусок сахара обычно просто падает на пол и никуда не катится в силу своей прямоугольной формы. Этот же покатился, как шарик нафталина, отчего страхи мои усилились, и мне даже подумалось, что у меня его из рук вырвали. Рональд, который знает меня, посмотрел туда, куда должен был, судя по всему, закатиться сахар, и расхохотался. Это напугало меня еще больше, к страху примешалась ярость. Подошел официант, полагая, что я уронил нечто ценное, паркеровскую ручку, к примеру, или вставную челюсть, но он мне только мешал, и я, не говоря ни слова, метнулся на пол разыскивать кусочек сахара под подошвами у людей, которые сгорали от любопытства (и с полным на то основанием), думая, что речь идет о чем-то крайне важном. За столом сидела огромная рыжая бабища, другая,

не такая толстая, но здоровая шлюха и двое управляющих или что-то в этом роде. Перво-наперво я понял, что сахара нигде нет, хотя своими глазами видел, что он покатился под стол, к самым туфлям, которые суетились под столом, точно куры. На мою беду, пол был застлан ковром, и, хотя ковер был изрядно потерт, сахар мог забиться в ворс так, что его не найти. Официант опустил на пол по другую сторону стола, и мы оба на четвереньках ползали между туфель-куриц, а их владелицы кудахтали над столом как безумные. Официант по-прежнему был уверен, что речь идет о паркеровской ручке или о какой-нибудь драгоценности, и, когда мы оба совсем забились под стол, в полутьму, располагавшую к полному взаимному доверию, и он спросил меня, а я ему ответил все, как есть, он скроил такую рожу, что впору было побрызгать его лаком-закрепителем, но мне было не до смеху, страх кольцом сжал желудок и под конец привел меня в полное отчаяние (официант в ярости вылез из-под стола), а я начал хватать женщин за туфли и шарить в выемке под каблуком — не прячется ли сахар там, а курицы кудахтали, и петухи-управляющие клевали мне хребет, я слышал, как хохочут Рональд с Этьеном, но не мог остановиться и ползал от стола к столу, пока не нашел сахар, притаившийся у стула, за ножкой в стиле Второй империи. Все вокруг были взбешены, и сам я злился, сжимая в ладони сахар и чувствуя, как он перемешивается с потом и как мерзко тает, как липко мне мстит, и вот такие штучки со мной — что ни день.

(—2)

## 2

Вначале все тут было как кровопускание, пытка на каждом шагу: необходимо все время чувствовать в кармане пиджака дурацкий паспорт в синей обложке и знать, что ключи от гостиницы — на гвоздике, на своем месте. Страх, неведение, ослепление — это называется так, это говорится эдак, сейчас эта женщина улыбнется, за этой улицей начинается Ботанический сад. Париж, почтовая открытка, репродукция Клее рядом с грязным зеркалом. И в один прекрасный день на улице Шерш-Миди мне явилась Мага; когда она поднималась ко мне в комнату на улице Томб-Иссуар, то в руке у нее всегда был цветок, открытка Клее или Миро, а если на это не

было денег, то в парке она подбирала лист платана. В те времена я искал на улицах ранним утром проволоку и пустые коробки и мастил из них мобили, вертушки, которые крутились над трубами, никому не нужные машины, и Мага помогала мне их раскрашивать. Мы не были влюблены друг в друга, мы просто предавались любви с отстраненной и критической изощренностью и вслед за тем впадали в страшное молчание, и пена от пива отвердевала в стаканах паклей и становилась теплой, пока мы смотрели друг на друга и ощущали: это и есть время. В конце концов Мага вставала и начинала слоняться по комнате. Не раз я видел, как она с восхищением разглядывала в зеркале свое тело, приподнимая груди ладонями, как на сирийских статуэтках, и медленным взглядом словно оглаживала кожу. И я не мог устоять перед желанием позвать ее и почувствовать, как она снова со мною после того, как только что целое мгновение была так одинока и так влюблена, уверовав в вечность своего тела.

В те времена мы почти не говорили о Рокамадуре, удовольствие эгоистично, и узколюбое наслаждение сладостным стоном толкало нас друг к другу и связывало нас своими просоленными руками. И я принял бесшабашность Маги как естественное условие каждого отдельного момента существования, и мы, мимоходом вспомнив Рокамадура, наваливались на тарелку разогретой вермишели, мешая вино с пивом и лимонадом, или неслись вниз, чтобы старуха, торговавшая на углу, открыла нам две дюжины устриц, или наигрывали на облупившемся пианино мадам Ногé мелодии Шуберта и прелюдии Баха, или сносили «Порги и Бесс», сдобренную жареным на решетке бифштексом и солеными огурчиками. Беспорядок, в котором мы жили, а вернее, порядок, при котором биде самым естественным образом постепенно превращалось в хранилище для пластинок и архив писем, ожидавших ответа, стал казаться мне обязательным, хотя я и не хотел говорить этого Маге. Не стоило большого труда понять, что незачем излагать Маге действительность в точных терминах, похвалы порядку шокировали бы ее точно так же, как и полное его отрицание. Беспорядок вообще не существовал для нее, я понял это в тот момент, когда заглянул однажды в ее раскрытую сумочку (дело было в кафе на улице Реомюр, шел дождь, и нас начинало мучить желание); я же принял беспорядок и даже относился к нему благожелательно, но лишь после того, как понял, что это такое; на этих невыгодных для меня условиях строились мои отношения почти со всем миром, и сколько раз,

лежа на постели, которая не застилалась по многу дней, и слушая, как Мага плачет из-за того, что малыш в метро напомнил ей Рокамадура, или глядя, как она причесывается, проведя предварительно целый день перед портретом Элеоноры Аквитанской и до смерти желая стать на нее похожей, — сколько раз я — словно умственную отрывку — глотал мысль, что азы, на которых строится моя жизнь, — тягостная глупость, ибо жизнь моя истощалась в диалектических метаниях, в результате которых я выбирал ничегонеделание вместо делания и умеренное неприличие вместо общепринятых приличий. Мага укладывала волосы, распускала и снова укладывала. Думала о Рокамадуре, напевала что-то из Гуго Вольфа (скверно), целовала меня, спрашивала, как я нахожу ее прическу, или принималась рисовать на клочке желтой бумаги, и всегда она была сама по себе, целиком и полностью, в то время как у меня, лежавшего в постели, не случайно грязной, и прихлебывавшего пиво, не случайно теплое, все было иначе: всегда был я и моя жизнь, был я со своей жизнью пред жизнью других. Но я и гордился этим сознательным ничегонеделанием: сменяли друг друга луны и бесчисленные жизненные обстоятельства, где были и Мага, и Рональд, и Рокамадур, и Клуб, и улицы, и мои нравственные недуги, и прочие пиореи, и Берт Трепá, и голод порою, и старик Труй, вызволявший меня из затруднений, но я, попадая в плен ночей, блевавших музыкой и табаком, мелких пакостей и разного рода выходок, независимо от того, подпадал ли я под их власть или оставался себе хозяином, я никогда не желал притворяться, как эти потрепанные любители богемы, нарекавшие карманный хаос высшим духовным порядком или вешавшие на него какие-либо другие ярлыки, в равной мере прогнившие; я не хотел соглашаться с тем, будто малой толики пристойности хватило бы, чтобы выпутаться из этого вконец загаженного мирка. И вот тогда я встретил Магу, и она, сама того не зная, стала свидетелем моей жизни и шпионом, и я испытывал раздражение оттого, что не переставая думал об этом и понимал: как всегда, мне гораздо легче думать, чем быть и действовать, и в моем случае *ergo*<sup>1</sup> из знаменитой фразочки не такое уж *ergo*, и даже вовсе не *ergo*, отчего мы всегда и брели по левому берегу, а Мага, не зная, не ведая, что была моим шпионом и свидетелем, беспредельно восхищалась моими разнообразными познаниями, пониманием литературы и даже *jazz cool*<sup>2</sup>, ибо все это для нее было

<sup>1</sup> Следовательно (*лат.*).

<sup>2</sup> «Холодного» джаза (*англ.*).

тайной за семью печатями. И потому я чувствовал себя антагонистически близким Маге, наша любовь была диалектической любовью, какая связывает магнит и железные опилки, нападение и защиту, мяч и стенку. Боюсь, что Мага строила в отношении меня некоторые иллюзии и, может, ей казалось, что я излечиваюсь от предрассудков или что меняю былые предрассудки на ее, менее назойливые и более поэтичные. И в разгар этой непрочной душевной радости, этой ложной передышки, я протягивал руку и касался клубка-Парижа, его безграничной материи, спутавшейся в единый моток, магмы его воздуха и того, что рисовалось за окном, его облаков и чердачных окон; и тогда беспорядка как не бывало, мир снова предстал окаменевшим и основательным, все прочно сидело в своих гнездах и поворачивалось на плотно пригнанных петлях в этом клубке из улиц, деревьев, имен и столов. Не было беспорядка, который бы вел к избавлению, а были только грязь и нищета, пивные кружки с опивками, чулки в углу, постель, пахнувшая трудами двух тел и волосами, и женщина, гладившая мою ногу тонкой, прозрачной рукой, но ласка, которая могла бы вырвать меня на миг из этого бдения в полной пустоте, запоздала. Запоздала, как всегда, потому что, хотя мы и предавались любви столько раз, счастье, должно быть, выглядело совсем иначе, наверное, оно было печальнее, чем этот покой и это удовольствие, и, может быть, походило на единорога или на остров, на бесконечное падение в неподвижность. Мага не знала, что мои поцелуи были подобны глазам, которые начинали видеть сквозь нее и дальше, и что я как бы выходил, перелитый в иную форму, в мир, где, стоя на черной корме, точно безумствующий лоцман, отрубал и отбрасывал воды времени.

В те дни пятьдесят какого-то года я почувствовал себя словно стиснутым между Магой и чем-то иным, что должно было случиться. Глупее глупого было восставать против мира Маги и мира Рокмадура, ибо все обещало, что едва я обрету независимость, как тут же перестану чувствовать себя свободным. Я был редкостным ханжой, и мне мешало это мелочное шпионство — подглядывание за моей кожей, за моими ногами, за тем, как я забавляюсь с Магой, за тем, как я, подобно попугаю в клетке, пытаюсь сквозь ее прутья читать Кьеркегора, но, думаю, больше всего меня беспокоила сама Мага, которая понятия не имела о том, что она за мной подглядывает, а, напротив, была совершенно убеждена в моей суверенной самостоятельности, но, пожалуй, нет, по-настоящему меня раздра-